

Литературная газета
июль 1961.

ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ ПОЭТА

Я НЕ ПОМНЮ, когда именно я впервые назвал Владимира Александровича Луговского по имени и отчеству и впервые пожал его большую добрую руку. Это было потом, когда все мы — Алигер, Долматовский, Матусовский, Борис Лебедев, Яков Кейхгауз и другие наши сверстники, — уже учась в Литературном институте, стали на несколько лет питомцами Луговского, ходили к нему домой и в редакцию «Молодой гвардии», читали ему стихи, ждали советов. Все это было потом. Одни из нас приводили других. Как-то раз привели и меня. Кто это сделал и как это было, — не помню...

Зато хорошо помню, как еще года за два или за три до этого я впервые увидел Луговского и услышал, как он читает стихи. Мне не было двадцати, я только начинал писать и носил свои стихи в консультацию Гослитиздата. Наверное, именно там мне и посоветовали пойти на выступление Луговского. Он выступал в небольшом ампирном особняке на Зубовском бульваре, в райкоме партии. Маленький зал был полон народу, в нем сидело, наверное, человек полтораста. Луговской читал разные стихи: читал и свою знаменитую «Песню о ветре», но больше всего читал новые стихи о Европе. Он недавно вернулся тогда из заграничной поездки. Хорошо помню его тогдашнего: очень высокого, очень широкоплечего, с глубоко втянутым животом и выпирающей из пиджака грудью. Под пиджаком была надета глухая, до горла, тонкая черная фуфайка...

Я много раз потом, уже хорошо зная его, не уставал поражаться тембру его голоса, переходящего от шепота к грому, — и когда он говорил, и когда он читал стихи, и когда пел.

Этот голос поразил меня и тогда, в первый раз. В его голосе клекотало, раскатывалось, гремело мужество. Когда он читал тихо, затаенная сила этого голоса чувствовалась еще сильнее. Но и когда он читал громко, словно выпустив весь голос на волю, все равно казалось, что это еще не весь голос, что там, где-то в недрах его огромных легких, оставались еще какие-то не выброшенные в воздух звуки. Иногда, читая, он с какой-то особой мягкостью округлял свой бас, словно придерживая его на поворотах. И за этим чувствовалась мягкая, пружинящая сила.

Стихи мне понравились. Понравился и человек, читавший их. Он был красивый, строгий и сильный. Когда только начинаешь писать стихи и думаешь о том, как и кому ты их принесешь и покажешь, то в твоём первом впечатлении о человеке, который станет первым судьей твоих стихов, очень важно ощущение его доступности или недоступности. Внешность у Луговского была недоступная. Но в манере держать себя проскальзывала доброта и снисходительность.

А потом прошло какое-то время, и мы все начали ходить к Луговскому в «Молодую гвардию» и домой, сперва в маленькую квартиру на Тверском бульваре около Литературного института, потом в большую, новую — в Лаврушинском переулке.

Мы любили Луговского потому, что он любил нас. Без этого между старшим и младшим в литературе никогда не рождается и не может родиться дружба. Может родиться уважение, преклонение, восхищение — что угодно, но не дружба.

Мне случалось наблюдать больших поэтов, у которых были преданные молодые поклонники и которые смотрели на них, как на что-то волочащееся за ними по земле. Неся в себе нечто уничтожительное для обеих сторон, — не знаю, для какой больше, — такого рода отношения или превращаются в

окончательное уродство, порой на всю жизнь, или безвозвратно проходят.

Константин СИМОНОВ

Повторяю, мы любили Луговского потому, что он любил нас, хотя в нашей юношеской любви к нему была, конечно, и нота преклонения, и доля идеализации человека, которого мы любили. Но главное состояло в том, что не только он был нужен нам, но и мы были нужны ему. Мы, со своими незрелыми стихами, со своим неоперившимся мужеством, были интересны Луговскому.

Он не смотрел свысока ни на наши незрелые мысли, ни на наши незрелые стихи. Он одно принимал в них, другое отвергал, но ему было интересно и важно: куда, по какой дороге в будущее идут эти мысли и эти стихи. И, конечно же, он больше любил то, что было ближе ему, даже порой оказываясь несправедливым и больше радуясь не самым лучшим стихам, а самым близким ему по духу и по голосу. В этом была своя субъективная справедливость: он не претендовал быть судьей молодой поэзии, он хотел быть ее другом и сообщником, но именно в том, что было близко ему самому, как поэту и человеку.

Луговской в те годы необыкновенно много возился с поэтической молодежью. Но сказать, что он собрал вокруг себя самое талантливое в ней, — было бы неправдой. Были очень талантливые молодые поэты, которые казались неинтересными ему и для которых он сам был неинтересен. В его орбиту вошли только те из нас, кто был ему близок по устремлениям, те, кто в свою очередь предпочитал его стихи стихам других хороших поэтов, не потому, что стихи Луговского были непременно лучше всех других стихов, но потому, что именно его стихи были нам ближе.

Поэзия пустынь и гор, яростных ветров и соленых морских побережий, обаяние тех мест, где человеку трудно и где от него требуется мужество, романтика революции и гражданской войны, революционного Востока, борьбы с басмачеством, пограничной службы, наконец романтические ноты предчувствия будущих боев с фашизмом — все это было нам очень близко в Луговском. Мы это чувствовали и в его стихах, и в его суждениях о чужих, в том числе и наших стихах, и в песнях, которые он пел, и в былях, и даже в былицах, которые он рассказывал.

Да, наверное среди былей попадались и былицы. Вспоминая уже взрослым человеком о том, как Луговской рассказывал нам и как мы, двадцати-двадцатидвулетние, по-детски раскрыв рты, слушали его, я задним числом трезво понимаю: да, бывало и

так, что его рассказы отрывались от земли, что в них влетался и домysel, и вымысел, и что, наверное, даже сама биография Луговского в этих рассказах представляла перед нами более романтической, более жесткой, вооруженной, военной, чем она была. В его жизни и в самом деле было немало интересного, но в нашем, мальчишеском, представлении она казалась овеянной, быть может, излишним романтическим ореолом.

А впрочем, почему излишним? Романтика нам была нужна, как хлеб. Недаром мы в те годы так любили Багрицкого, недаром нашим старшим товарищем стал именно Луговской. Мы сами требовали от него романтики. Мы сами хотели, чтобы все эти шапки, ятаганы и ружья, висевшие у него над большой тахтой в кабинете, непременно имели свою историю, чтобы все они были в боях и чтобы об этих боях нам было рассказано. И порой под нашим собственным натиском какой-нибудь из этих ятаганов приобретал в устах Луговского еще более удивительную историю, чем имел на самом деле.

Скептический ум — это самый очевидный и в то же время самый дешевый сорт ума. Мне уже давно кажется это, и я не переменил своего взгляда и сейчас. Смеяться над юностью нетрудно. Но стоит ли?

Луговской никогда не смеялся над юностью, ни над собственной, ни над чужой. В собственной юности он опирался на то, что ему в ней нравилось, и хотел добавить в нее то, чего ей, по его мнению, недоставало, — еще больше опасностей, риска, романтики.

Мне очень понятно это чувство. В годы гражданской войны в Испании мне так нестерпимо хотелось поехать туда, и я так много раз потом возвращался — и в стихах, и в прозе — к этой юношеской теме моей души, что в конце концов многие стали считать, что я был в Испании. Порой мне стоило усилия воли в ответ на чей-то вопрос: где и когда я был в Испании, ответить: нет, я там не был. Но душевно я там был. И несколько стихотворений, которые я люблю до сих пор, я написал именно об Испании. А вот в желании быть там, принять участие в первом открытом бою с фашизмом для меня, например, огромную роль сыграли моя юношеская дружба с Луговским, облик его молодости, стоявшей в моих глазах, его стихи, его мужественный голос, певший «Бандера роха» и «Джон Браун», и даже скрещенные сабли, висевшие над тахтой, где он спал.

Одна из важных черт нашей дружбы состояла в том, что Луговской не требовал от нас преклонения перед его стихами. Мы любили его стихи. Так бы-

ло по большей части. Но порою они не нравились нам, и хотя мы очень переживали необходимость сказать ему об этом, все-таки говорили. И ни разу не помню, чтобы он воспринял это как измену. Он просто отчаянно огорчился и как-то притихал. Мы бывали расстроены все сразу — и он, и мы, и неизвестно, кто больше. Наверное, так оно и должно быть, если дружба действительно дружба. Помню такое, особенно печальное, затихшее после того, как он прочел нам поэму «Полковник Соколов».

Зато «Курсантскую венгерку» мы заставляли его читать подряд три или четыре раза. Мне и сейчас кажется, что это одно из самых лучших стихотворений о гражданской войне, которые я когда-нибудь знал, — звонкое и чистое, овеянное дымкой печали, то ли позднего раздумья, то ли предчувствия уже накатывающейся новой войны.

Луговской много сделал для нас в те годы, и, конечно, каждый из нас с благодарностью вспоминает его как своего редактора и защитника, а потом все-таки как человека, двигавшего в печать наши стихи.

Но главное все же не в этом. Место Луговского в нашей юности гораздо больше и важнее. Он понимал и поддерживал в нас то, что было самым дорогим для нас самих: веру в людское мужество, в мужскую дружбу, в солдатское товарищество, в то, что поэзия не существует без дальних дорог, без испытаний, без трудностей, без волн моря и песка пустынь, без твердого выбора — с кем ты и против кого, без твердого знания, во имя чего ты живешь и ради чего готов умереть.

Ему хотелось, чтобы мы выросли в поэтов мужества, в поэтов, для которых тревожный ветер революционных боев был не только воспоминанием о прошлом, но и дыханием настоящего, и предчувствием будущего. Мы могли писать стихи лучше или хуже, но ему нравились только те, в которых была эта сердцевина. И спасибо ему за это, потому что это многое определило в нашей поэтической жизни, да и не только поэтической.

Сейчас мне на десять лет больше, чем было тогда Луговскому, а словно это было не четверть века назад, а вчера вечером, помню Луговского, поющего американскую песню о Джоне Брауне, о Джоне Брауне, который первым поднял восстание за свободу негров и погиб вместе со своими сыновьями в неравном бою с южанами. Эта песня потом стала военной песней северян. Мне и до сих пор кажется, что Луговской пел ее невыразимо прекрасно, вкладывая в это пение свое представление о том, каким должен быть человек.

258